

Жером Веркрюйс

НЕ ТОЛЬКО ПО ВИНЕ ВОЛЬТЕРА... ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Изучение восемнадцатого века на пороге двадцать первого

«Университетская книга». Международный Центр по изучению XVIII века.

Москва—Санкт-Петербург—Ферней—Вольтер, 2001. С.286—327.

Веб-публикация: [Eleonore](#) и редакторы сайтов [Vive Liberta](#) и [Век Просвещения](#).

Я не привык говорить о себе, тем более обращаясь к широкой публике. Однако изучение XVIII в. в последние годы приобрело такой размах, что я счел возможным принять предложение, сделанное составителем настоящего сборника, и рассказать о том, как и почему я стал заниматься этой эпохой: надеюсь, что рассказ мой не слишком утомит читателей.

* * *

Первая моя встреча с XVIII столетием произошла еще в детстве. Дед мой (1876–1960) рассказывал мне, что его двоюродная бабушка Элоди, дожившая почти до 100 лет, в юности, в 1792 или 1794 г., была свидетельницей захвата Кортрейка санкюлотами; другие мои предки, решительно не одобрявшие новых порядков, установленных захватчиками, также рассказывали детям об этой эпохе, и через несколько поколений рассказы эти дошли до меня. Позже я узнал, что другой дальний предок, офицер, присягнувший императору Иосифу II и сохранивший верность этой присяге, не дрогнув, отдал приказ расстрелять революционеров-патриотов из орудий... Неплохое начало! Таким образом, еще ребенком с помощью исторических анекдотов я прикоснулся к настоящей Истории; остальное сделала школа.

Учился я во время оккупации; наш учитель господин Бернар¹, человек мужественный и большой патриот, на уроках истории описывал нам австрийское господство в весьма критическом тоне. Он явно не питал симпатии к иноземным властителям — да и к Иосифу II также. Что же касается бельгийской революции 1787–1790 гг., то она вызывала у него неподдельный восторг. Знал бы он о поведении моего предка... По всей вероятности, бельгийская официальная историография очень сильно зависела от политической конъюнктуры. В то трудное время нюансы были не в моде; вдобавок следовало воспитывать молодое поколение в патриотическом духе. Можно ли было требовать от нашего учителя особенно глубоких познаний? Габсбурги, прежде всего Филипп II и его наместник герцог Альба, по многим причинам не пользовались у нас популярностью. Прошлое нашей страны казалось мне страшно увлекательным: я проглатывал все, что находил в скромной местной библиотеке. Позже, в лицее, я, к счастью, узнал о существовании более тонких оттенков, но и там передо мной постоянно представляли точки зрения решительно противоположные. На уроках мы проходили царствования Марии Терезии и Иосифа II, Революцию и Старый порядок. Учителя рассказывали нам о Руссо и Вольтере, галерее искушения, персидском письме, прелестях сельской жизни...² Таким образом литература переплеталась с Историей, и именно их смешение сделало меня тем, чем я стал впоследствии. В последнем классе мой интерес подхлестнул преподаватель литературы, гневно обличавший все XVIII столетие и прежде всего Вольтера. Между тем он был франкофилом, но любил он Францию Барреса, а позже я понял, что в речах его слышались также отголоски чтения Морраса. Упокой Господь его душу! С другим учителем, преподававшим нам историю, я однажды затеял на уроке спор о Французской революции, который мог иметь для меня весьма неприятные последствия. По счастью, выпускные экзамены принимала комиссия, и это спасло меня от возможной мести моего оппонента.

Я вовсе не был склонен принимать за истину в последней инстанции все «наставления» учителей, но осторожности ради оставил свое мнение при себе. Однако размышлять я не перестал. Я стал еще больше читать и очень скоро понял, что творчество Руссо, Вольтера, Монтескье, Дидро и многих других, равно как и всю эпоху Просвещения в целом, можно «трактовать» очень по-разному. Заядлый читатель, я постепенно выработал собственную точку зрения на этот счет. Еще одна деталь: в пору, когда на наш XVIII в. было принято смотреть свысока, как на нечто, не заслуживающее особенного внимания, я побывал вместе с родителями в замке Белей и проникся симпатией к принцу-фельдмаршалу Шарлю Жозефу де Линю и его эпохе. А ведь принц, как выяснилось, был доверенным лицом и другом ненавистного Иосифа II — это меня поразило. Через принца де Линя я познакомился с брюссельским обществом его времени, а позже благодаря ему открыл для себя (или счел, что открыл) истинное лицо эпохи Иосифа II. Получать информацию мне было нелегко: как я уже говорил, наша библиотека не отличалась большим запасом книг по XVIII в., а доступа к святыням Королевской библиотеки я не имел, поскольку мне не исполнилось 18 лет. На мое счастье, в Брюсселе не было недостатка в букинистах, продававших свои сокровища по умеренным ценам, и, старательно откладывая деньги, я время от времени покупал самые интересные из старых книг; другим источником пополнения моих книжных запасов служили «интеллектуальные» подарки.

Поступив в Свободный Брюссельский университет, где царил дух свободомыслия, я быстро утвердился в привычке судить обо всем самостоятельно, невзирая на мнение окружающих; вдобавок мне и моим товарищам неслыханно повезло: нам выпала удача слушать лекции молодого блестящего преподавателя, читавшего первый курс в своей жизни. Он не скрывал, что любимая его эпоха — XVIII столетие. Красноречие и познания этого профессора очень скоро покорили нас. То был Ролан Мортье. Мы учились у него целых четыре года, и, еще не успев скинуть с себя «ослиную шкуру» студента, я уже начал предвкушать, как засяду за диссертацию о литературных вкусах Вольтера.

В конце концов я не утерпел и рассказал о своих планах профессору. Он одобрил мой интерес к XVIII в., но счел, что тема, избранная мной, чересчур широка; вдобавок он — совершенно справедливо — заметил, что о литературных вкусах Вольтера уже писали, и не раз. Он посоветовал мне подыскать другую тему. Будучи превосходным знатоком бельгийского XVIII в., он посоветовал мне заняться жизнью и творчеством аббата Нидема — жертвы блистательных насмешек Вольтера. Я не знал об этом аббате ровно ничего: тем интереснее было узнать хоть что-нибудь. Я посвящал этим изысканиям все свое свободное время (в эту пору я преподавал в лицее). Однако довольно скоро мне пришлось признать, что, несмотря на весь мой интерес к естественным наукам, я не обладаю достаточными познаниями для того, чтобы оценить сочинения аббата, посвященные физике и биологии. Зато благодаря ему я получил возможность снова погрузиться в историю австрийских Нидерландов.

Однако всего этого мне было недостаточно. Я пожаловался своему наставнику на слабость моих познаний в биологии, и мы вновь вернулись к поистине неизбежному Вольтеру. Продолжая свои странствия по книжным лавкам, я обнаружил, что голландские букинисты продают французские книги по смешным ценам, потому что — утверждали они — никто ими не интересуется. Поскольку голландский был моим родным языком, я внимательно изучал и книги, посвященные Соединенным Провинциям в XVIII в. — этой «эпохе париков», которая, кажется, тоже не слишком интересовала наших северных соседей. Не помню уже точно, в какой день 1960 или 1961 г. это произошло, но факт остается фактом: родители подарили мне 46-томное собрание сочинений Вольтера, выпущенное издательством «Ашетт» (оно хранится у меня до сих пор); я принялся изучать том за томом. Некоторые высказывания Вольтера о Голландии поразили меня: пожалуй, подумал я, этим стоит заняться. Довольно скоро я заметил, что Соединенные Провинции занимают в творчестве Вольтера гораздо больше места, чем принято считать. Исследовать то, что Вольтер сказал об этой процветающей республике, занятой торговлей и исповедующей терпимость, восстановить маршруты его путешествий по этой стране — вот, решил я, тема, до сих пор практически не исследованная. Я рассказал о своем намерении научному руководителю: он сразу одобрил меня и пожелал мне успеха.

Не стану рассказывать в подробностях о том, как, совмещая научные разыскания с преподаванием в лицее, а затем с продолжительной военной службой за границей, я работал над избранной темой. В 1963 г. я изложил первый набросок своего труда в Коппе, на I Международном конгрессе по изучению эпохи Просвещения. Мне пришлось выступать перед аудиторией, состоявшей из специалистов и даже знаменитостей; меня выслушали внимательно, мне задали вопросы, из которых я извлек немалую пользу; больше того, многие из мэтров ободрили меня и посоветовали продолжать работу в избранном направлении. Покойный Теодор Бестерман, с которым я уже четыре или пять лет переписывался, очень заинтересовался тем, о чем я говорил, и предложил мне после защиты опубликовать мою диссертацию. В 1965 г. я успешно ее защитил, а в следующем году мне предоставили право издать в серии «Studies on Voltaire» целый том³. Так родилась наша дружба с этим необыкновенным человеком, который в самом начале поддержал меня и, наряду с моим научным руководителем, способствовал тому, что я остался верен XVIII в. Наши дружеские отношения с Бестерманом прервала только его смерть. Дальнейшее не заслуживает подробного рассказа: служба в Фонде научных исследований, а затем в университете, участие в конгрессах и конференциях, публикации, подготовка издания Вольтера и других авторов, работа в Бельгийско-нидерландской исследовательской группе и — в течение 12 лет — в Исполнительном комитете Международного общества по изучению XVIII в. (где мне довелось быть заместителем генерального секретаря, генеральным секретарем и вице-президентом), и пр. Пожалуй, достаточно для ответа на вопрос, как именно я пришел к занятиям XVIII в.: семейные легенды и их воздействие, начальная школа, лицей, диссертация, научно-исследовательская деятельность, кафедра французской литературы в недавно открытом Свободном Брюссельском университете, и т.д. — вот мой послужной список, который, вероятно, можно считать вполне «спешным».

Осталось ответить на другой вопрос: почему я стал заниматься XVIII в.? Ведь в конце концов на меня могли бы подействовать и другие семейные легенды: о дальнем родственнике, уехавшем в Америку, о Первой мировой войне, свидетелями и участниками которой были мой отец и мои дядья, о колониальных приключениях; все это вполне могло бы приохотить меня к другим эпохам.. Я выросал XVIII в., и, по правде говоря, никогда не задумывался о причинах этого выбора. Но однажды, причем в самый неожиданный момент, меня сбросили. От учеников, которым я преподавал в лицее, я не скрывал своего интереса к XVIII в.; замечу не без гордости, что мне удалось вызвать у них интерес к этой эпохе. И вот однажды один мальчик задал мне вопрос: «Скажите, пожалуйста, а почему вам так нравится XVIII век?» Я не сумел ответить сразу, но обещал подумать. В конце концов, если когда-то французы спрашивали: «Этот господин — персиянин. Как можно быть персиянином!»⁴, подростку вполне простительно задать схожий вопрос своему преподавателю. Думал я довольно долго и наконец дал ответ выпускному классу; ответ этот оказался гораздо проще, чем мне казалось вначале. XVIII в. произвел на меня сильное, неизгладимое впечатление; я «заболел» им и остался верен своему увлечению невзирая ни на веяния моды, ни на приказы свыше.

Объяснюсь. Тот, кто не выносит принуждения, тот, кто думает, верит и утверждает, что терпимость, свобода суждения и независимость от предрассудков — нравственные ценности, присущие человеку от природы, тот, кто не может читать без волнения «Трактат о веротерпимости», кто искренне смеется, читая «Кандида» или «Персидские письма», кто восхищается философскими рассуждениями Дидро, максимами Вовенарга и признаниями принца де Линя, — тот не может не любить XVIII век, не может, образно выражаясь, не чувствовать себя там «как дома».

Добавлю, что родители еще в раннем детстве внушили мне, что свобода непременно должна сочетаться с чувством ответственности, привили мне уважение к чужому мнению, любовь к труду, к учебе, к культуре в целом. Итак, почва была распахана: первые, детские встречи с XVIII столетием, школьные уроки, затем первые путешествия разожгли тот огонь, который добрых полвека питал мои размышления, пристрастия, вкусы. Не думаю, что можно стать исследователем XVIII в., повинуясь только голосу разума; здесь нужна какая-то искра, чтобы не сказать — любовь с первого взгляда.

Но о каком именно XVIII веке идет речь? Мне могут возразить, что философы и Просвещение — только одна, хотя и чрезвычайно интересная, сторона XVIII в., другая же его сторона куда менее лучезарна: XVIII в. — это еще и слепой фанатизм, бесчисленные предрассудки, узаконенное рабство, бесчеловечные политические режимы, неоправданные и не подлежащие оправданию привилегии, и проч. Вдобавок... разум против чувства; везде и повсюду разум! Казалось, подобные выпады против XVIII в. прекратились раз и навсегда, однако сегодня их можно услышать вновь; между тем они пристрастны, тенденциозны, несправедливы. Да, разумеется, не все в XVIII в. равно заслуживает одобрения, да, разумеется, кое-что в нем может прийти не по нраву; однако в тех спорах, о которых мы ведем речь, иные противники этого столетия нарочно представляют дело так, будто у него были одни лишь негативные стороны; между тем в основе этих изъязнов XVIII в. лежит древнее, можно сказать, глубинное стремление, присущее всякому человеку с хорошими задатками, — стремление ликвидировать все преграды на пути к тому, что он считает счастьем для себя и — поскольку он не страдает эгоизмом — для себе подобных. В XVIII в. Европа пережила философское, нравственное, культурное, политическое и социальное потрясение, какого прежде не знала. Точнее было бы вести речь о целой цепи потрясений, об «эре революций» атлантического масштаба, в которой Французская революция 1789-1794 г. — всего один из эпизодов. Огромное влияние на Европу оказала Американская революция; ее следствием стали мятежи, которые разразились в 1787 г. в австрийских Нидерландах и Соединенных Провинциях и которым Французская революция придала законный статус. Да, иные эпизоды революции ужасны, кровавы. Мне отвратительны революционеры, тысячами топившие в Луаре нантских «подозрительных», злобные «вязальщицы»⁵ и те, кто жестоко подавил восстание в Лионе. Но разве эти злоупотребления нельзя считать ответом на тот слепой, безжалостный фанатизм, с которым католики преследовали протестантов? То, что произошло в Севеннах⁶, предвещало, быть может, то, что спустя несколько десятилетий случилось в Вандее. Разве те, кто обрек на муки и позорную смерть Каласа, де Ла Барра и многих других невинных людей, не заслужили возмездия? Что же касается сына революции, который установил во Франции имперскую диктатуру, куда более жестокую, нежели власть королей, то я отнюдь не одобряю всех его действий... «Тигры», о которых писал Вольтер, исчезли, но на смену им очень скоро явились другие. Исследователю, занимающемуся XVIII в., следует иметь мужество признать, что у «его» века есть и хорошие, и дурные стороны.

Ни одному из «великих» не довелось стать свидетелем горестных событий конца столетия. Как отнеслись бы к революции Вольтер, Руссо, Дидро, Гельвеции, Гольбах? Одобрели бы ее? Возвысили бы голос против нее? Разделили бы участь Кондорсе, Шенье, Шамфора, Лавуазье? Отправились бы в изгнание, принялись протестовать из Лондона, Берлина, Санкт-Петербурга, и если да, то стали бы французы прислушиваться к ним, услышали бы их, последовали бы за ними? Это школярское умножение вопросов, лежащих на поверхности и не имеющих ответа, совершенно бесполезно. Я перечислил только французов. А ведь за пределами Франции французское Просвещение смешивалось с идеями Просвещения, родившимися в недрах других культур. Просвещение — феномен общеевропейский; в Лондоне, Эдинбурге или Милане жили мыслители, думавшие не совсем так, как обитатели Парижа или Фернея; в оркестре, которым по очереди дирижировали Вольтер, Руссо и другие, Амстердам и Вена вели собственную партию. Иначе как объяснить, что Англия в XVIII в. обошлась без революции, а волнения, потрясшие в 1787 г. Голландию, не достигли французского размаха? Если бы после восшествия на престол в 1780 г. Иосифа II, бельгийцы — главным образом по причине своего традиционализма и эгоизма — не оказали сопротивления просвещенным, почти революционным реформам, которые задумал и начал воплощать в жизнь этот государь, в чем-то нерешительный, но в чем-то и весьма деспотичный, в стране появились бы институты, которые предотвратили бы насильственное установление режимов, навязанных чужеземцами, или по крайней мере смягчили бы их. Наши «демократы», пребывавшие в меньшинстве, ставши в вину своему монарху не столько направленность его реформ, сколько его тактические промахи, его деспотизм.

Помимо воли я вновь прибегаю к сослагательному наклонению. Основная же моя мысль заключается в том, что «периферийное» положение позволяет историку XVIII в. взглянуть на многое новыми глазами; извне, пусть даже с очень близкого расстояния, многое из того, что происходит внутри, видится иначе. Такие люди, как Изабелла де Шарьер⁷ или Шарль Жозеф де Линь, воспитанные на французской культуре, но не только на ней, были убеждены в том, что в основе многих старинных установлений лежит одно лишь тщеславие, что они безнадежно устарели, и одобряли перемены, однако решительно осуждали тот ход, какой постепенно приняли революционные события. А ведь их не назовешь консерваторами, цепляющимися за идеи и принципы, которые давно отжили свой век. Разве не признается принц де Линь в «Отрывках из истории моей жизни», что хотя оккупация родной страны его разорила, он этому рад, ибо теперь ощущает себя свободным от каких бы то ни было обязательств. Он, конечно, вспоминает Версаль и тогдашнюю «сладость бытия», но и он, точь-в-точь как дама из Понте⁸, ясно видит все изъяны и несправедливости прежней власти и с прискорбием их описывает. Обосновавшись в Вене, де Линь так ни разу и не побывал больше в возлюбленной Франции, так ни разу и не увидел больше свой «драгоценный Белей», жители которого его обожали. Между прочим, никому из них и в голову не пришло «идти войной» на замок, грабить его богатейшие коллекции, разорять и жечь «господский дом».

Одним словом, я не стану следовать старинному обычаю винить во всем Вольтера и Руссо («И это по вине Вольтера... И в этом виноват Руссо»⁹) — обычаю, воскрешаемому ныне иными «философами», которые охотно осмеивают XVIII в. и те идеи, какие он нам завещал. Спорить с тем, в основе чего лежит голое отрицание, — вещь безнадежная. Не слишком изысканная шутка гласит, что после 1789 г. многие французы потеряли голову как в прямом, так и в переносном смысле. А в этом кто виноват?

* * *

Итак, *не только* Вольтер виноват в том, что я проникся интересом к XVIII в. во всей его целостности: интерес мой был отнюдь не только научным; влияние на меня оказала история (особенно история моей родной страны), идеология, музыка, изобразительное искусство, и все это вместе образовало конгломерат, границы которого очень трудно определить с абсолютной точностью. Я не могу этого сделать, ибо интерес мой от времени ничуть не притупился, ибо я по-прежнему увлечен этим веком, который сделался мне гораздо ближе и понятнее, но открыл далеко не все свои секреты. Порой мне в голову приходят фантазии в духе Герберта Уэллса: например, с помощью машины времени я попадаю в Ферней во времена Вольтера и беседую с хозяином замка; я получаю доступ в залы Шёнбрунна и Версаля, присутствую на празднествах в Белее, люблюсь фейерверками над Темзой, взбираюсь, перепрыгивая через несколько ступенек, на верхний этаж дома на улице Платриер¹⁰, слежу за полетом воздушного шара братьев Монгольфье, работаю в большой типографии, где наловчились тайком печатать запрещенные книги, пью чай у владелицы поместья в Коломбье¹¹, присутствую на репетиции «Дон Жуана» в Праге, слушаю, как оркестр, которым дирижирует Гайдн, исполняет его симфонию, пробуждающую ото сна его повелителя, смотрю, как Удри рисует охотничью собаку... и многое-многое другое; всего не перечесать. Недаром говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. Однажды в «Delices»¹² Теодор Бестерман поведал мне, что с тех пор, как он живет в этом прославленном имении, с тех пор, как он *спит в постели Вольтера*, он стал лучше понимать этого великого человека; больше того, он сказал (привожу его слова, сказанные 40 лет назад, по памяти): «Я живу, как Вольтер, думаю, как Вольтер», закончил же он поразительным признанием: «Я и есть Вольтер». Эти слова человека, который посвятил всю свою жизнь и все свое состояние фернейскому мыслителю, не слишком удивили меня, хотя я и не склонен полностью принимать их на веру. Из всех эрудитов, посвятивших себя изучению XVIII в., он один зашел по этому пути так далеко. Сходным образом, подумал я тогда, актер, играющий Гамлета, начинает и в жизни вести себя, как Гамлет, а певица, исполняющая партию Кармен, уподобляется своей героине и вне сцены.

В ту пору, когда я был студентом, в парижских антикварных лавках близ Лувра можно было встретить любопытного персонажа, которого завсегда так прозвали «последним бонапартистом». Внешность его вполне оправдывала прозвище: перед вами предстал типичный отставной офицер, в узком черном фраке, с розеткой Почетного легиона в петлице, со шпагой-тростью в руке, с бакенбардами воина старой наполеоновской гвардии. Бедняга существовал в ином мире. Антиквары очень его любили, ведь он регулярно что-нибудь покупал у них и выказывал во всем, что касалось Империи, самые глубокие познания. Казалось, он вот-вот затынет «Спасем империю» или «Прошли мечты»¹³. Можно улыбаться над судьбой людей, которые оказываются пленниками своей страсти, можно их жалеть. Но страдал ли подобным синдромом Теодор Бестерман? Нет. Он умел шутить, сохраняя самый серьезный вид: он не был Вольтером, зато он был самым большим вольтерьянцем из всех знатоков Вольтера, которых мне довелось знать. То же самое можно сказать и обо всех знаменитых ученых мужах, с которыми я сталкивался: ни один из них *не был* Дидро, Руссо, Гельвецием, де Линем, Вовенаргом, Вольтером или Гольбахом. Но когда они заводили речь о «своем» великом авторе, о XVIII в. в целом, голос их зачастую начинал звучать громче, а в глазах загорался блеск. Сегодня я лучше понимаю эти чувства, можно даже сказать — эту страсть. Ибо постоянный контакт с любой эпохой накладывает свой отпечаток на нашу манеру видеть, ходить, слушать. Но всё ли в человеке подчиняется этому влиянию? Надеюсь, что нет. Полагаю, что я смог избежать этой опасности, сумел ускользнуть от своего рода пожизненного заключения в изучаемой эпохе. XVIII столетие не было для меня ВСЕМ. Я сам и, надеюсь, все мои ближние каждый день поздравляют себя с этим; однако это столетие занимает в моем уме привилегированное место. Почему? Потому, что оно служит мне и стимулятором, и мотором, и катализатором; время от времени я заменяю в этом механизме некоторые детали или прибавляю новые. Именно поэтому я и не могу с абсолютной точностью очертить контуры явления, которое играет в моей жизни такую важную роль.

* * *

Таким образом, XVIII в. дорог мне не только сам по себе, но и творческим и нравственным вкладом в мировую культуру. Имена людей, прославивших XVIII в., известны во всех уголках земного шара: Канта комментируют в Японии, Баха и Моцарта играют в Москве и в Вашингтоне. Однако дело не только в этом. Для нас по-прежнему актуальны задачи, поставленные «во весь рост» именно XVIII в.: именно он завещал нам сочувствие к другому, даже если он не похож на тебя, борьбу с несправедливыми установлениями, с негативными последствиями технического прогресса, чреватых экологической катастрофой. Впрочем, повторю еще раз: далеко не все, созданное в XVIII в., равно замечательно: не видеть ничего, кроме спящего огня нескольких мощных маяков, было бы весьма опрометчиво. XVIII в. так и не удалось разрешить многие противоречия, возникшие задолго до него; к ним принадлежат предрассудки и предубеждения против «чужих», то есть людей, которые говорят и думают «не так, как мы», кастовый дух презрения к людям менее образованным, неприкрытое пренебрежение основополагающими правами любого человеческого существа, невежество, глупость, религиозный фанатизм, привычка изъясняться пространно и невнятно, всевозможное шарлатанство, рабство нравственное и политическое. социальное и культурное. Те мужчины и женщины, которые в течение XVIII столетия восставали против этих пороков (вероятно, присущих самой человеческой природе), без сомнения, *добрым подвигом подвизались*¹⁴, но победить им не удалось.

Нетрудно догадаться, что для меня XVIII в. — не курьез, не собрание археологических экспонатов, предназначенных для демонстрации в частном или общественном, виртуальном или реальном музее, не нагромождение предметов, подлежащих холодному научному анализу. Я убежден, что век этот до сих пор жив, приносит плоды и побуждает к свершениям. Он не умер и, возможно, не умрет никогда. Те, кто его изучает, смотрят на него так, как дети смотрят на родителей.

Сделавшись подростком, а затем взрослым, человек обретает возможность судить о родителях более беспристрастно и независимо. Он осознает, что у них есть не только сильные, но и слабые стороны. Именно так смотрю я на XVIII столетие — столетие исполинской, вековечной борьбы между «Светом» и «Тьмой». То был всего лишь этап? Допустим, но согласитесь, что таких этапов в истории наберется немного.

* * *

Я говорил о *влиянии* века. Получается, что изучаемая эпоха может воздействовать на вкусы, поведение, мысли исследователя? Да, разумеется. И это влияние не всегда благотворно? Возможно, но я подобных случаев почти никогда не видел. Что же касается меня самого, то скажу еще раз: на своем *жизненном пути* я испытал влияние отнюдь не одного XVIII столетия. Много ли мы приобретаем, ограничивая себя одним-единственным предметом исследования, пусть даже таким обширным и разнообразным? Много, конечно, но недостаточно.

XVIII в. познакомил меня с писателями, артистами, учеными, музыкантами, художниками, архитекторами, городами и замками, которых без него я бы не узнал никогда. Отправившись по стопам Вольтера в Сан-Суси, я открыл для себя рококо эпохи Фридриха Великого, своеобразный урбанизм гарнизонных городов, музыкальную «инвенцию». А она, в свою очередь, вдохновила меня на путешествие по галактике Баха. Еще прежде его юбилей помог мне узнать многие неизвестные стороны его творчества. Поскольку нами правили Габсбурги, я, естественно, узнал многое о Вене и Шёнбрунне, о Моцарте и Гайдне, а также о Метастазии и Сальери, которых до этого не знал вовсе. Рамо, чью «Галантную Индию» мне довелось увидеть при весьма необычных обстоятельствах, заинтриговал меня и продолжает интриговать по сей день. У Рамо, как известно, был Племянник: с его легкой руки я познакомился с Локателли¹⁵. Еще в юности я узнал кое-какие песенки Гретри: этот уроженец Льежа свел меня с Мармонтелем и открыл мне такие стороны творчества Руссо и Седена, о которых я прежде не подозревал. Побывав в доме, где родился Гретри, я захотел получше узнать его оперы, а благодаря им насладился и колоритными валлонскими операми его времени. Открытия ожидали меня даже в Брюсселе: я заинтересовался придворными композиторами Карла Лотарингского, а затем оценил по достоинству Тервюрен и Марьемон — загородные резиденции этого монарха, обожаемого подданными и удостоившегося памятников при жизни. Изабелла де Шарьер свела меня с Сартри. Принц де Линь заставил побывать в Лаксенбурге¹⁶, а князя Эстергази — в Эйзенштадте. Там я посетил дом Гайдна, и это побудило меня вернуться в Вену, а затем направиться в Лондон и побывать в местах, не указанных ни в одном путеводителе. Работая в немецких литературных архивах Марбаха, я не мог не посетить родной дом Шиллера, расположенный в двух шагах от моей гостиницы. О Каналетто, Грёзе и Ватто я слышал еще в лицее; однако впоследствии путешествия и книги обогатили мой воображаемый музей полотнами Латура, Шардена, Ванлоо, Удри, Лайкре, Ларжильера, Гварди. В Бельгии сохранились кое-какие превосходные архитектурные памятники XVIII в.: несколько замков, из которых самый лучший — Белёй принца де Линя (если бы я не боялся родить весьма примитивный каламбур, я бы сказал, что он — первый на *линии*), Намюрский собор, Дворец Нации в Брюсселе и прилегающий к нему парк, где Байрону повстречалась тень Петра Великого. От богатых аббатств, построенных по проектам Девеза, мало что сохранилось, но кое-какие замки все же уцелели; что же до самого творца, к сожалению, почти никому не известного, то его могилу я обнаружил на венском кладбище. А сколько впечатлений сулит знакомство с «причудами» — загородными домами, возведенными по воле богачей в разных французских провинциях, или с роскошными немецкими резиденциями в Дрездене и Сан-Суси, а также в Мангейме, Ансбахе, Веймаре, Бамберге, Байрейте, или с не менее роскошным Харвудом¹⁷, с римскими, неаполитанскими и туринскими дворцами, с Аранхуэсом, георгианскими кварталами Лондона и Дублина, с исполненным особого очарования старым Бостоном и соседними городками, где время, кажется, остановилось раз и навсегда, с особым градостроительным стилем Мангейма, Бата, помбалева Лиссабона, с бесконечными садами, в которых я побывал после того, как прочел «Взгляд на Белей», с планетарием Франекера¹⁸, с деревушкой Зейлен и соседним замком... Одним словом, чем больше путешествуешь, тем больше узнаешь нового и полезного.

Я убежден, что если интересуешься каким-то предметом, важно знать все, что его окружает и из него вытекает. Если ты хочешь иметь достаточные сведения о каком бы то ни было вопросе, ты должен выйти за его пределы, больше того, выйти за рамки своей «дисциплины», а быть может, и изучаемой эпохи. Все столетие скрепляет, выражаясь словами Лавджоя, длинная *невидимая цепь*.

Поэтому если на моем пути встречается «историческая» достопримечательность — здание или поместье XVIII в., — я, разумеется, знакомлюсь с ней поподробнее, не пренебрегая, впрочем, и памятниками других эпох. Едва ли не повсюду путешественника подстерегают сюрпризы. Помню, например, конференцию в Неаполе: однажды в полдень, во время короткого перерыва, любезные коллеги показали мне в крипте некоей фамильной часовни витрину, где моему потрясенному (не смею сказать — восхищенному) взгляду предстали тела двух супругов — слуг, которые в буквальном смысле слова окаменели вследствие медицинских экспериментов их хозяина — полностью потерявшего разум *principe*¹⁹, который, разумеется, остался безнаказанным. А как забыть те зримые следы XVIII столетия, которые оставлены неприкаянными душами в невероятном «Музее душ чистилища», скрывающемся в недрах одного римского монастыря конгрегации Святого Сердца на берегу Тибра, неподалеку от Министерства юстиции! О его существовании стало известно коллеге из лувенского Католического университета — канонику, участвовавшему в той же конференции, что и я. Мы вдвоем отправились в монастырь, долго искали нужное нам место, а потом вели еще более долгие переговоры с отцом-настоятелем, который, разумеется, принимал нас за самых низкопробных папарацци. Священнослужители в Риме частенько относятся с подозрением к другим людям в сутанах, даже если эти сутаны ничем не отличаются от их собственных.

Тот, кто занимается XVIII в., не может остаться равнодушным и к кинематографу. Постепенно я пришел к выводу, что фильмы «по мотивам» получаются гораздо более удачными, чем собственно экранизации. «Опасные связи» Вадима понравились мне гораздо больше, чем фальшивые подделки под XVIII в., появившиеся позже; я наслаждался «Кандидом» с Жаном Пьером Касселем, где действие происходит в 1940 г., во время отступления французской армии, и притом под музыку Леонарда Бернстайна. Безумие Георга III, дядюшка Бенжамен в колоритном исполнении Жака Бреля, Амадео кажутся мне куда более удачными, чем «Монахиня» или «Герцогиня д'Авила» — жалкие подобию патетического монолога Дидро или яркого и увлекательного повествования Яна Потоцкого. Можно было бы написать интересную работу на тему «Экранизации произведений XVIII века» либо «Литературный (или исторический) XVIII век и кино»; впрочем, осмысления заслуживают не только кинематограф, но и все визуальные формы искусства, например, комиксы. Мне довелось видеть такие картинки, посвященные маркизу де Саду, которые, пожалуй, привели бы в замешательство его самого! А ведь все это, в определенном смысле, тоже часть нашего сегодняшнего восприятия XVIII столетия...

НЕ ТОЛЬКО ПО ВИНЕ ВОЛЬТЕРА...

* * *

С самого детства я любил читать. Работая над диссертацией, я прочел, разумеется, «всего Вольтера» и не пожалел об этом; я и теперь перечитываю его и считаю это чтение весьма полезным; то же могу сказать о Бовеарге, Дидро, д'Аржансе, принце де Лине, Бомарше, Лакло, Изабелле де Шарьер и многих других. Я читал их и перечитывал — порой в связи с подготовкой к лекциям, порой в связи с написанием какой-нибудь статьи, но также из любопытства, а затем и ради удовольствия. «Вер-вера»²⁰ я в первый раз прочел 14 лет от роду. С тех пор прошло полвека, но я и теперь улыбаюсь, читая про похождения монастырского попугая. Я читал, читаю и, надеюсь, еще долго буду читать многочисленных авторов, которыми никогда не «занимался» по ходу исследовательской работы. Я читал их раньше, а теперь перечитываю исключительно ради того наслаждения, которое мне доставляет их живой, острый, совершенно не скучный стиль. К их числу принадлежат Монкриф с его «Историей кошек», Грессе, Гамильтон, Бернис, Безанваль и многие мемуаристы, а каждый из этих авторов, в свой черед, пробудил во мне интерес еще к кому-то.

Есть писатели, к которым я так и не притронулся, — быть может, из-за того, что их поклонники слишком громко их прославляют. Взявшись за них, я бы долго мучился от скуки и только даром потратил время. Возможно, меня упрекнут в двойном стандарте: одни книги я читаю как профессионал, другие — как любитель. На это я отвечаю, что руководствуюсь плодотворной мыслью, однажды меня осенившей: убеждение в том, что «я обязан извлечь из этой книги некую пользу», нисколько не противоречит другому убеждению: «То, о чем говорится в этой книге, позволит мне (возможно) провести несколько приятных минут, не думая ни о чем другом». Я не опубликовал ни строки о тех авторах, которых перечислил, а также, не в обиду им будет сказано, о Мариво, Руссо, Прево, Кребийоне-сыне. Почему? Полагаю, причины тут сугубо личные: что-то не срабатывает, симпатия, которая *должна была бы* родиться по ходу чтения и превратиться в ощущение близости, не появляется. Порой мы «клюем» на приманку, а порой не «клюем», потому что соблазнились другой приманкой в другом месте. Есть писатели, композиторы, художники, с которыми расстанешься, а через некоторое время встречаешься с ними, как со старыми друзьями или любимыми родственниками. Есть другие — повторной встречи с ними избегаешь. Таким образом, всякий исследователь создает себе свой персональный пантеон, свой музей, населенный писателями, композиторами, художниками: эта виртуальная семья точно так же, как семья реальная, с течением времени изменяется и совершенствуется. Я всегда старался не затворяться в башне из слоновой кости, которую возводят для себя, подчас сами того не сознавая, так называемые «великие специалисты», «ведающие» какой-нибудь узкой областью науки. Давным-давно один приятель-поляк сказал мне, что у него на родине есть *марксисты, марксoidы и марксоеды*. Очередное проявление знаменитого польского юмора? Я слышал, что существует наука «мариология» и специалисты по культу Девы Марии — «мариологи». Вольтерьянцы и вольтероеды существуют наверняка — а «вольтерологи»? От одних фамилий производные образованы давно: но как назвать знатоков Монтескье, Гельвеция, д'Аржанса и многих других? Профессиональный жаргон их еще не окрестил, хотя чем они хуже? «Лог-» в данном случае — тот, кто хранит ключи от «логоса», кто обладает всей полнотой знания о данном предмете и по этой причине считает себя вправе объявлять во всеуслышание свою точку зрения, больше того — навязывать ее окружающим. Вместе с единомышленниками он может создать культ, секту, религию; однако на этом пути его подстерегает множество опасностей: прежде всего, появление раскольников и еретиков, которых приходится отлучать от церкви! У сюрреалистов «папой» был Бретон; а у руссоистов? Но ведь это же ужасно! Это просто дико! Разве возможно превратить творчество оданго автора или целое идейное направление XVIII в. в непререкаемую догму, а всех «инакомыслящих» проклясть? О Мольер! «Раз он не наш, то в нем ума, конечно, нет»²¹. Да, некоторые исследователи, занимающиеся XVIII в., — как, впрочем, и политики, и богословы, — смотрят на вещи именно так. Можно над этим смеяться, можно плакать. Я не раз испытывал отрицательные последствия такого подхода на собственной шкуре: ведь я никогда не упускал возможности объявить во всеуслышание, что подобная атмосфера, подобное давление, подобная интеллектуальная ограниченность решительно противопоказаны тем, кто изучает XVIII в., ибо решительно противоположны самой его природе. За это меня предавали анафеме, чем я искренне горжусь.

Тем не менее «профаны», наблюдающие за жизнью нашей «республики» со стороны, видят в нас, специалистах по изучению XVIII в., людей незаменимых, сведущих и полезных. К нам обращаются за консультациями, у нас спрашивают совета. Известно, что у работников радио и телевидения есть свои картотеки *специалистов* по каждому вопросу. Если грядет чей-то юбилей или какой-нибудь другой «информационный повод», они быстренько звонят «специалисту» и записывают на пленку беседу с ним (порой даже без его ведома). Несколько часов спустя слушатели внимают рассказу — но какому и о чем?

Хорошо еще, если из вашего выступления ничего не вырезали или не переставили ваши фразы местами: однажды я с ужасом прослушал «монтаж» беседы с выдающимся американским коллегой, которая была записана «специальным корреспондентом» на некоем конгрессе и из которой — благодаря работе «монтажера» — следовало, что Ницше обязан всем Руссо и даже Гоббсу. Жан-Жак как предшественник ницшеанства? Недурно. В других случаях оракула приглашают, чтобы он объяснил, что именно *нужно* знать о том или ином предмете, как именно *нужно* о нем думать. Сколько раз, слушая этих ученейших мужей, я переключал телевизор или радио на другой канал, боясь утонуть в потоке банальностей, изрекаемых более чем самоуверенным тоном. С интервьюерами необходимо быть всегда начеку. Приведу один пример. В 1989 г. мы отмечали в Бельгии 200-летие Французской революции, а заодно и нашей собственной, даром что она началась в 1787 г. С телевидения мне позвонили и спросили, согласен ли я принять участие в одной популярной программе, в такой-то день в 13 часов. Мне следовало бы учесть, что выступать придется в тележурнале, в «горячее» время дня. Когда я это осознал, было уже поздно. И вот я слышу вопрос: «Итак, господин профессор, что вы можете сказать в двух словах о бельгийской революции 1789 г.?» И что прикажете отвечать? Разумеется, ни в двух, ни в четырех словах не объяснишь, даже приблизительно, сущность этого чрезвычайно сложного периода нашей истории. Я предупредил об этом, а затем начал по возможности коротко рассказывать о нашей революции, причем на лице моего собеседника с каждой минутой выражалось все большее и большее нетерпение. Я уложился в несколько минут, за что мне были очень благодарны. И тем не менее, прежде чем проститься со мной, телевизионщики попеняли мне за превышение времени в эфире... А вечером того же дня люди, которых я видел в первый раз в жизни, узнав мою фамилию, уже рассыпались в комплиментах по поводу того, *как это было интересно...* Но что, собственно, они хотели этим сказать? Неужели они узнали, запомнили нечто новое? Хотелось бы выяснить, что именно.

Значит, подобные блиц-визиты на телевидение не имеют решительно никакой пользы? Приведу другой пример. Четыре года назад мы с друзьями получили приглашение на лекцию для широкой публики, которую собиралась прочесть одна дама, бывшая телеведущая, а ныне биограф принца де Линя, впрочем, пользующаяся некоторой известностью. Никогда еще не доводилось нам слышать столько глупостей в единицу времени, причем не только о принце де Лине, но и обо всей его эпохе; мы узнали, например, что барон Гримм сочинял сказки для детей; вообще перепутано было все: места, даты, лица. Другой, совсем недавний биограф принца, ничтоже сумняшеся утверждает, что тот родился в 1875 г., путает восстание в Нидерландах с восстанием в Соединенных Провинциях, причем полагает, что произошло оно в 1784 г., и так далее. Сколько я ни листал его книгу — между прочим, довольно дорогую, — я не нашел ни намека на список опечаток... И что в таком случае прикажете делать? Поднимать скандал? А почему бы и нет? Возможно, кто-то скажет, что даже поток банальностей может пробудить у какого-нибудь любознательного слушателя желание узнать о предмете разговора побольше... Вдобавок, не все интервью заканчиваются так плачевно: однажды, например, фламандское радио отправило в Невшаталь для освещения конференции по творчеству Беллы ван Зейлен журналиста, который и сам преподавал в университете; а в 1979 г. на конгресс в Пизе приехал другой журналист, который попросил меня представить его присутствующим на конгрессе знаменитостям и уговорить их ответить на его вопросы, а затем сделал десять программ по полчаса каждая, куда включил записанные им беседы без всяких купюр; шли эти передачи в нормальное время, когда их можно было слушать совершенно спокойно. Нынче это кажется легендой о золотом веке: ведь подобные передачи не имеют больших «рейтингов» и не окупаются. А все остальное не имеет значения.

Я никогда не отказывался участвовать в серьезных дискуссиях, отвечать на вопросы журналистов, которым в самом деле интересен предмет разговора, и не потому, что моему тщеславию льстит появление в радио- или телеэфире в качестве модного «веда», но потому, что я всегда надеюсь увлечь кого-то тем, о чем говорю, дать новый толчок исследованиям.

Однажды я публично предложил одному «историку» — Жозефу Жерару — сразиться в эфире: он, однако, остерегся принять вызов. Это напоминает мне полемику между Рене Помо и Роже Перфитом по поводу гомосексуализма Вольтера: первый, опираясь на серьезные аргументы, опровергал этот тезис, а второй с большим шумом, но безо всяких аргументов его отстаивал. Таким образом, исследователь, занимающийся XVIII веком, не должен пасовать перед несправедливыми и необоснованными претензиями профанов. Он должен контратаковать. В конце концов, разве Вольтеру не случалось неоднократно нападать на претенциозных глупцов — ведь его мы за это не осуждаем!

* * *

Я уже сказал, что *некоторые* сюжеты и проблемы занимали меня, между тем как другие оставляли равнодушным. В чем тут дело? Случаен ли этот выбор? Пожалуй, в качестве ответа на этот вопрос следует привести формулу Поля Валери: «Не брать, но выбрать». Я видел, слышал, читал, я вижу, слушаю, читаю, я брал и беру из прочитанного то, что мне близко и интересно, и надеюсь, что смогу *выбирать* еще долго. Я никогда не работал по заказу и не вижу ровно никакой необходимости браться за статью или книгу ради того, чтобы кому-то понравиться, кому-то польстить, чтобы заручиться чьей-то поддержкой или добрым расположением.

К тому же потребность в выборе заложена в самой природе человека. У всякого исследователя, занимающегося XVIII в., есть свои излюбленные темы, предпочтительные предметы разысканий. Об их количестве и качестве пусть судят коллеги. Стоит ли подсчитывать свои работы? Выставлять их напоказ? Однажды на конгрессе в Бостоне председатель секции решил для пущей наглядности раздать присутствующим список моих публикаций. Его длина меня поразила: неужели я написал так много? По всей вероятности, слишком много: мой старейший наставник Буало недаром утверждал, что, «не обуздав себя, поэт писать не может»²². Я сохранил этот список только потому, что им удобно пользоваться, когда заполняешь в какой-нибудь анкете графу «Публикации». Еще один друг моей юности, Марк Аврелий, утверждал: «*Никто не помешает мне делать то, что я желаю в согласии с природой разумного и общественного существа*»²³. И все же не мешает по примеру Тита каждый вечер спрашивать себя, не прошел ли день впустую²⁴. В бостонском списке было много пустяковых статей, на написание которых я потратил слишком много времени, и это время, вне всякого сомнения, потеряно понапрасну. Для меня важно не количество, а качество; впрочем, в нашем деле нет недостатка в поденщиках, которые выдают в свет свои произведения с таким же постоянством, с каким журналисты строчат фельетоны. Между тем, «что написано пером, того не вырубишь топором», и *виноват* в этом вовсе не XVIII в. С годами становишься осмотрительнее и убеждаешься, что в науке важны только вещи фундаментальные и что многие важнейшие темы, несмотря на огромный количественный и качественный рост работ, посвященных XVIII столетию, до сих пор ждут своих исследователей.

В работе I Международного конгресса по Просвещению, проходившего в 1963 г. в Коппе, участвовало около сотни человек; в 1999 г. в Дублин, на X конгресс, приехало в десять раз больше участников. В 1963 г. немногочисленные исследователи, уже составившие себе имя в науке, давно знали друг друга, а остальные были счастливы увидеть воочию автора такой-то книги или такой-то статьи. Я, в ту пору заурядный пассажир третьего класса, не знал в лицо никого. На заключительном пленарном заседании, в которое внесли оживление разные курьезные происшествия, было принято решение создать для оживления научной работы национальные общества по изучению XVIII в. и вновь встретиться в 1967 г. В ту пору львиную долю участников составляли представители Западной Европы и Северной Америки. Восточноевропейских коллег из стран «народной демократии» было очень мало, а об азиатах и африканцах никто даже и не упоминал. Со временем географическое равновесие было, к счастью, восстановлено. Сегодня нет континента, на котором не существовало хотя бы одно общество по изучению XVIII в., насчитывающее сотни, если не более, участников. В справочник 1999 года вошло 9473 имени²⁵.

Это вдохновляет, тем более что современные технологии существенно ускоряют и упрощают труд исследователя. 20 лет назад тот ученый, у которого дома на полке не стояло Собрание сочинений Вольтера в издании Молана²⁶ или Дидро в издании Ассеза²⁷, должен был отправляться за ним в библиотеку, где вполне мог получить ответ, что нужный том «занят» или «отдан в переплет», что он «не выдается на руки» или что его «нет на месте». Сегодня, в эпоху Интернета и компакт-дисков, достаточно нажать на несколько клавиш своего компьютера, и собрания сочинений, равно как и библиографии, возникают перед вами на экране. Прежде, пользуясь обычной почтой, мы получали ответы на свои письма не раньше, чем через две недели; сегодня благодаря электронной почте они приходят через несколько часов. Раньше тому, кто не хотел ждать несколько месяцев, пока ему изготовят микрофильм с рукописи или книги, приходилось переписывать целые страницы от руки, рискуя исказить текст. Теперь библиотеки обзавелись ксероксами и с большей или меньшей строгостью позволяют читателям ими пользоваться, иногда, впрочем, изобретая такие поводы не выдавать разрешения на ксерокопирование, как «ветхость» той или иной книги. Мне случалось бывать в книгохранилищах больших библиотек, и я имел возможность убедиться, что сами работники обращаются с этими драгоценными томами, над которыми, кажется, они так дрожат, ничуть не более бережно, чем игроки в регби — с мячом. Встречаются и такие библиотеки, где правила более либеральны, более снисходительны, — быть может, даже чересчур снисходительны. Помню один отдел рукописей, где еще не было ксерокса: читатели спускались с рукописями под мышкой на первый этаж огромного здания, в писчебумажный магазин, где ксерокс имелся, а оттуда поднимались назад в читальный зал, неся в руках и оригиналы, и копии. А недавно мне прислали по факсу рукопись принца де Линя, причем факс был отправлен прямо с оригинала. Уже сейчас можно читать книги в сети. Того и гляди, скоро в библиотеках вовсе не останется книг. Впрочем, стоит ли жаловаться? Ведь самое важное — получить как можно раньше информацию как можно более точную. Происходит «оптимизация» поиска — тем лучше. Сам того не желая, я заговорил языком чиновника-управленца, и это не случайно: ведь речь идет о координации совместной работы, об упрощении и ускорении труда долгого и сложного. Другое дело, что превосходный результат при этом отнюдь не гарантирован. Сами по себе машины не хороши и не плохи: об этом говорилось уже тысячу раз. Нам никогда не избавиться от исследователей небрежных или чересчур торопливых, похожих на компилятора аббата Трюбле, которого справедливо высмеял Вольтер²⁸, от тем легковесных и недостойных. Тут все дело в характере, в темпераменте. Всегда найдутся сочинители, желающие высказать свое остроумное мнение о комедиях Мариво, предложить новую интерпретацию или, как выражаются на конгрессах, «новое прочтение» «Племянника Рамо» или «Кандида». Это куда легче, чем «работать лопатой»: но не всем же быть геологами и археологами. Примеры высосанных из пальца ученых рассуждений, основой для которых послужили переводные карманные издания сомнительного качества, можно приводить бесконечно. К счастью, среди исследователей, занимающихся XVIII в., встречаются и такие геологи или археологи, о которых я упомянул только что. Они стремятся открыть неизведанное, обнаружить неизданные произведения, неизвестных авторов, застолбить месторождения, о которых прежде никто даже не подозревал. Разумеется, на вкус, на цвет товарищей нет. Сложность, однако, заключается в том, что источником для тех самых легковесных опусов, появление которых меня отнюдь не радует, становятся подчас работы серьезных исследователей. Лишь только закончилось издание Полного собрания сочинений Изабеллы де Шарьер²⁹, как все кому не лень принялись переиздавать (со ссылками или без) эти самые сочинения, а также выдавать в свет более или менее «авторитетные» исследования ее творчества. А ведь у дамы из Коломбье *остались* и довольно значительные неопубликованные тексты. Когда, наконец, будут изданы подобающим образом принц де Линь, Вовенарг, Гельвеций, Гольбах и другие, к этим изданиям также присосутся усердные паразиты.

Между тем сколько мемуаров, писем и других текстов, написанных государственными деятелями, учеными, книгопродавцами, художниками, ожидают своих «первооткрывателей»? Порой, когда я думаю о том, что «следовало бы сделать» в области изучения первоисточников, у меня начинает кружиться голова. Таким образом, у исследователей XVIII в. впереди долгая и прекрасная жизнь, однако она будет такой, лишь если они окажутся достаточно честными, трудолюбивыми, упорными и настойчивыми.

Выше я рассказал о том, чем занимался, и, надеюсь, достаточно внятно объяснил *почему*. Всеядные всезнайки при ближайшем рассмотрении оказываются мало на что годными. Значит, мы обязаны совершать выбор, оказывать предпочтение. Почему кто-то интересуется перепиской Моцарта больше, чем его музыкой, неизданными сочинениями Вовенарга больше, чем его «источниками», зачем изучать колорит Фрагонара, влияние физиократов на жизнь и экономику разных стран, запрещенные книги? К счастью, теперь это многообразие подходов к изучению XVIII в. сделалось очевидным и преобладающим. Первые конгрессы по изучению эпохи Просвещения страдали «литературным» уклоном; доклады, посвященные «великим» авторам, были на них если и не самыми лучшими, то, по крайней мере, самыми многочисленными. О политической, экономической, социальной истории говорилось совершенно недостаточно; музыка, живопись, формы коммуникации, точные науки, богословие, философия вообще практически не упоминались. Этот уклон сказывался, разумеется, и на составе многочисленных комитетов, советов и бюро; неоднократно он приводил к конфликтам и спорам. Теперь, к счастью, все изменилось. Конгрессы превратились в интернациональные форумы, где всякий может найти для себя что-нибудь интересное. Особенным разнообразием отличалась программа Дублинского конгресса 1999 г. Обратная сторона медали заключается в том, что участники конгрессов, к сожалению, еще не научились (пока) быть вездесущими и поэтому постоянно оказываются перед нелегким выбором. Впрочем, с подобной проблемой сталкиваемся не мы одни. Это могут подтвердить и участники всемирных конгрессов исторических наук, и медики, участвующие в больших международных конференциях. Бывает и так, что коллоквиумы, посвященные гораздо более узкой тематике, совпадают по времени, и нам опять-таки приходится делать выбор. Всюду поспеть невозможно, иначе исследователь рискует превратиться в вечногo кочевника. Зачем же мы участвуем в подобных встречах? Чтобы узнать нечто новое, чтобы встретиться с друзьями или коллегами из родной страны (ведь в обычное время на такие встречи никогда не хватает времени), чтобы завязать новые знакомства, открыть молодые таланты. Как часто я возвращался домой с конгресса или конференции, заручившись согласием коллег принять участие в совместной работе над неким научным проектом или договорившись о выпуске специального номера журнала; как часто на обратном пути я осознавал, что та или иная идея, записанная в блокноте во время выступления кого-то из коллег или во время обсуждения чье-нибудь доклада, достойна более подробного обдумывания. Многообразный мир конференций хорош тем, что побуждает всех, даже «ветеранов», не опускать руки слишком рано, «возделывать свой сад»³⁰, «работать в винограднике»³¹. Такой подход гарантирует, что наука не остановится в своем развитии, не окостенеет, и это бесконечно важно: ведь склероз ведет к смерти.

* * *

Словно в детской игре, я, хотя и не бросал кубик, вновь возвратился на клетку «выбор». Полагаю, что выбор мой вполне понятен, а «герои» известны: Вольтер и его последователи, Вовенарг, принц де Линь, Изабелла де Шарьер, Гольбах, империя Габсбургов, академические издания текстов, научно-библиографические описания и история книгопечатания. В арифметике есть полезное понятие — «общий знаменатель». *Восемнадцатый век* на эту роль не годится — это слишком широко, слишком расплывчато; *История, Литература, Средства сообщения* — это немного конкретнее, но все-таки недостаточно.

С другой стороны, мне хочется вновь подчеркнуть то, о чем я уже говорил прежде: исследователь не должен ограничивать свой кругозор одной культурой, одной личностью, одним языком или вообще какими бы то ни было политическими или понятийными рамками. Сущность XVIII в. — в переплетениях и интерференциях, так что любые ограничения здесь неуместны. Голландские книгопродавцы, невзирая на запреты цензоров, торговали книгами Вольтера, Руссо, Гольбаха во всех уголках Европы и даже в Латинской Америке; благодаря их деятельности возникали контакты между людьми и странами на самых разных уровнях. Вольтер и де Линь много путешествовали и переписывались с представителями 20 национальностей, с монархами, министрами и безвестными особами, о которых мы никогда ничего не узнаем. Изабелла де Шарьер, голландка по рождению, француженка по культуре, становится швейцаркой по мужу, наблюдает с близкого расстояния за всеми перипетиями Французской революции, переписывается с эмигрантами и сочиняет камерную музыку, а также оперы. Вовенарг почти никуда не ездил, а письмами обменивался только с узким кругом друзей, однако он участвовал в роковой богемской кампании³²: моралист в нем уживался с военным. Не зная ничего о разгроме армии, в рядах которой он состоял, не поняв природу недуга, на который он намекает, мы не сможем понять некоторые из его максим. Одним словом, если мы хотим рассматривать жизнь во всей ее полноте, мы непременно столкнемся по ходу наших разысканий с другими дисциплинами, с другими странами и другими культурами. В этом, думаю мне, одна из наиболее привлекательных сторон изучения XVIII в. Свой «общий знаменатель» я назвал бы так: «Распространение идей Просвещения». В интеллектуальном отношении все названные выше авторы сродни друг другу; политика Марии Терезии и Иосифа II была более «просвещенной», чем политика Людовика XV и Людовика XVI: в их владениях, точно так же, как в Англии и Голландии, освободительная революция не разразилась.

Распространение идей Просвещения шло нелегко; приходилось прибегать к разнообразным уловкам, унаследованным от прошлых эпох: выставлять на книгах поддельные издательские марки и неверные года, вовсе не называть имени автора или заменять его именем вымышленным, печатать книги тайно и распространять исключительно благодаря протекции более или менее просвещенных чиновников. Доказать, что данное издание «Системы природы» напечатано в Голландии, в Париже или в Невшателе, хотя на титульном листе местом издания назван Лондон, — это уже кое-что; постепенно составить перечень книг, изданных в одном городе, в одной типографии, — это уже гораздо лучше. Изучить архивы Рея, Плантена, Типографических обществ Невшателя, Буйона и др., архивов Королевской палаты книгоиздания и книготорговли, а также полицейского и цензурного ведомств; исследовать способы распространения книг — значит внести значительный вклад в историю идей. Это в общем. Теперь перейдем к частностям.

Можно сказать, что интерес к печатным изданиям я унаследовал от своих предков по отцовской линии: в течение полутора веков у нас в роду было немало «книжных людей»; больше того, я с удовольствием констатирую, что и молодое поколение проявляет вполне профессиональное внимание не только к новейшим формам коммуникации, но и к книге. Таинственный атавизм. В чем тут дело — в типографской краске, бегущей по жилам? В самом раннем детстве я часто бывал в дедушкиной типографии; позже мне показали, как работают с наборной доской, с типографскими литерами, как накачивают краску на форму, прижимают к ней бумагу, фальцуют листы в тетради. Все это, разумеется, пригодилось мне в дальнейшем. Я и сегодня не могу войти в типографский цех без волнения: он действует на меня так же, как действовало на Пруста пирожное «мадлен»... Типография служила распространению идей Просвещения: в некоторых странах она противостояла власти, которая стремилась защитить свои обветшалые, непрочные, а то и вовсе дискредитировавшие себя установления. Именно поэтому я всегда выступал за всеобъемлющий подход и против подхода ограничительного, против изучения явлений вне широкого контекста; то же самое я рекомендовал и своим ученикам.

В университете одна преподавательница — Эмили Нуле — постоянно внушала нам, что «биография ничего не объясняет», а сама препарировала, впрочем, с величайшей изобретательностью, символистские сонеты. Однако знание контекста не вредит, а лишь обогащает...

Вот уже несколько десятилетий, как глашатаи новых вероучений объявляют традиционную историю литературы вне закона, смешивают ее с грязью, предают анафеме. Не стану отрицать, что и у других методов исследования, новых или обновленных, есть свои достоинства. Эти методы входят в научный обиход один за другим, их превозносят до небес, а затем забывают и принимаются восхвалять те, что пришли им на смену.

Когда я только начинал читать лекции в университете, один коллега, очень подкованный насчет всяческих новшеств, сказал мне, что не может приступить к анализу какого бы то ни было текста, не изучив предварительно «все, что написал Барт». К чему эти предварительные условия, эти ограничения, этот догматизм, выглядящий особенно дико в учреждении, главный принцип которого — свобода суждения? Я никогда не мог ни понять, ни принять этого. Возьмем Вольтера: я убежден, что ко всему, что нам уже рассказали или еще расскажут (ведь многое до сих пор не исследовано) о нем историки, следует добавить результаты, полученные с помощью стилистики и психокритики, структурализма и психоанализа (фрейдовского или юнговского толка — неважно).

Я продолжаю настаивать, что тот, кто готовит академическое издание текста, должен уметь правильно выбирать конкретную рукопись или конкретное печатное издание в качестве базового текста, определять и публиковать варианты, делая из сопоставления их с основным текстом содержательные выводы, должен изучать генезис произведения и его источники, восприятие текста читателями и влияние, которое он на них оказывает, должен готовить макет книги, читать верстку, составлять именной указатель к книге и прилагать к ней точную и, по возможности, полную библиографию.

Так называемые карманные издания, предисловия к которым в точности воспроизводят не только содержание, но даже и расположение текста изданий столетней давности (а историкам книгоиздания это сразу бросается в глаза), для меня неприемлемы. В одном парижском издательстве (дело происходило много лет назад) мне прямо сказали, что я *не должен заниматься текстом, что этим займутся в издательстве*. Я был молод и — каюсь — дал слабину! Но после этого я поклялся противостоять искушениям такого рода и, надеюсь, сдержал клятву. Публикации, сделанные на скорую руку, загромождают полки книжных магазинов и супермаркетов, киоски на вокзалах и в аэропортах, а читатель, желающий «повысить» свой интеллектуальный уровень, не прилагая к тому особых усилий, глотает все без разбора, а затем повторяет мысли банальные, если не ложные. Книжные магазины, торгующие серьезными изданиями, встречаются все реже; книги, «не пользующиеся спросом» (что в переводе означает «плохо продающиеся») приходится заказывать. Впрочем, иные люди ведь убеждены, что книга издается не для чтения, а для продажи.

Итак, главное — углублять собственные познания, докапываться до сути вещей, добывать все новые и новые сведения о веке Просвещения — веке столь увлекательном и, можно даже сказать, вдохновительном. Понятно, что это нелегко. Если в начале моей исследовательской карьеры мне казалось, что все на свете просто или, по крайней мере, не слишком сложно, то со временем, признаюсь, все усложнилось: слишком много новых фактов постоянно приходится брать в расчет. На этом фоне простые, как в учебнике, формулировки никакого доверия не вызывают. На конгрессе, посвященном эпохе Просвещения, который проходил в добропорядочном американском университете (на восточном побережье) в интересную, но сложную дискуссию об определении понятия «Просвещение» вступил некий студент. Он преспокойно заявил нам, что лично ему все ясно. Допустим.

Несколько дней спустя в университетском книжном магазине я случайно наткнулся на брошюрку о XVIII в. и обнаружил, что самоуверенный юный оратор почерпнул те истины, которые преподнес нам как свои собственные, из этого учебного пособия (вдобавок весьма посредственного). Отнесем это на счет «ошибок молодости» и простим начинающему исследователю — но только с тем условием, что он не станет повторять эти ошибки и примется искать истину самостоятельно — короче говоря, станет *возделывать свой сад*. Студент, в сущности, не виноват: истинные виновники случившегося — профессиональные графоманы, разглагольствующие невесть о чем, выдумывающие факты, путающие события, перемешивающие ложь с правдой и навязывающие всю эту ерунду доверчивым читателям. Я уже упоминал об одном таком «специалисте», который много лет подряд потчевал определенные круги бельгийской публики глупостями, чтобы не сказать лживыми выдумками, но когда я предложил ему принять участие в дискуссии один на один, побоялся принять мой вызов. Я сообщил об этом одному из его читателей—слушателей—зрителей (ибо этот господин был любимцем средств массовой информации), преданнейшему его поклоннику, и едва не потерял дар речи, услышав ответ адепта: «Неважно, что он лжет; ведь он лжет так красиво». Неужели «широкая публика», на которую так часто ссылаются издатели и телепродюсеры, не заслуживает лучшего? Апелляция к широкой публике — вещь прекрасная, но лишенная смысла. Откуда вести отсчет, на какой высоте, выражаясь спортивными терминами, устанавливать планку? Опускаясь до «трудов» такого рода, что можем мы заработать, кроме денег и уважения не слишком взыскательных читателей?

Десятитомное Собрание сочинений Изабеллы де Шарьер было академическим изданием в самом точном смысле слова, однако это не помешало его безоговорочному коммерческому успеху, особенно на родине писательницы, — а ведь за последние несколько десятилетий число людей, способных читать по-французски, здесь значительно уменьшилось. Чем объяснить этот успех? Тем, что в Белле ван Зейлен голландцы видят интеллектуальное достояние нации? Тем, что рекламная кампания была проведена тактично, но эффективно? Многие покупатели—читатели, не принадлежащие к университетским кругам, говорили мне, что с удовольствием прочли предисловия, комментарии и даже текстологические примечания. Аннотированная библиография сочинений барона Гольбаха (которую я вскоре надеюсь выпустить вторым изданием, улучшенным и дополненным) сделалась едва ли не бестселлером среди библиофилов и всех, кто интересуется историей материализма, так что книгопродавцы даже сочли возможным повысить на нее цены. Не правда ли, здесь есть о чем подумать?

* * *

Грандиозные обобщения — вещь достойная всяческого почтения, но у девиза Леонардо да Винчи («*ostinato rigore*»³³) и у методы господина Тэста³⁴ тоже есть свои достоинства. Небесполезна и самокритика. Оглядываясь назад, я вижу в своих работах изъяны и ошибки, но есть в них и много ценного, причем так считаю не я, а мои критики. Допустим, что они правы. Итак, мы приносим обтесанные нами камни, располагаем их так, как подсказывает нам воображение, закладываем фундамент, возводим стены. Как долго они прослужат? Рано или поздно наступит день, когда другие исследователи станут подновлять, подправлять наши постройки, а то и вовсе снесут их до основания: ведь они будут руководствоваться своим принципами, опираться на свои открытия.

Можно ли трудиться в составе коллектива? Объединять усилия с коллегами в работе над каким-либо крупным проектом? Почему бы и нет, лишь бы компания была подходящей. Нынче на раскопках рядом с археологами делают свое дело специалисты по керамике, геологи, климатологи, дендрологи, энтомолог, биологи — специалисты по ДНК, и многие-многие другие. Результаты их совместной работы потрясают воображение. То же самое происходит и с изучением XVIII в.

Между прочим, координация усилий различных специалистов — отнюдь не синекура. Можно составить подробнейший проект, заручиться письменным согласием всех участников, а затем *получить* от них — причем с сильным опозданием — тексты, написанные по принципу «кто во что горазд». Однако если в конце концов плоды совместного труда удостоиваются одобрения истинных знатоков, о предшествующих хлопотах и неприятностях позволительно, пожалуй, забыть. Может ли все это «повредить» индивидуальному развитию исследователя? Есть люди, которые из принципа отказываются от участия в любых коллективных проектах. Я не могу причислить себя к безоговорочным сторонникам коллективной формы работы, однако наука идет вперед так стремительно, научные дисциплины развиваются так интенсивно, что нередко становится невозможно в одиночку овладеть всем накопленным материалом. Эпоха, когда Бешо самостоятельно публиковал Собрание сочинений Вольтера (впрочем, он опирался на кельское издание³⁵, осуществленное целым коллективом), давно закончилась; эпоха Молана, который лишь выверил работу Бешо, также. Какой исследователь сегодня дерзнет утверждать, что одинаково компетентен в таких вопросах, как ньютонианство Вольтера, его эстетические пристрастия, любовь к китайской культуре, финансовое положение и религиозные убеждения? Можно многое знать об этом авторе, но я сомневаюсь, что сегодня найдется хоть один серьезный вольтеровед, равно сведущий во всех этих областях. Возьмем хотя бы Полное собрание сочинений Вольтера, об издании которого мы договорились в 1967 году на конгрессе в Сент-Эндрю. Нас было пятеро; Теодор Бестерман собрал нас в маленькой гостиной; он просто спросил нас, согласны ли мы взяться за подготовку академического издания Полного собрания сочинений Вольтера. Все в один голос ответили «да»; оставались сущие пустяки: взяться за дело и довести его до конца. Сегодня, 33 года спустя, мы, разумеется, продвинулись далеко вперед, но скорее всего ни один из «пятерых» не увидит окончания этого грандиозного предприятия. Я был самым молодым из всех, и вот сегодня «в седле» остался я один. Не стану отрицать, мысль об этом иной раз приходит мне в голову, но я утешаю себя тем, что дело в надежных руках, что на винограднике трудится уже не один десяток работников, а это внушает надежду. Пожалуй, стоило бы прибавить к изданию еще один том, посвященный его собственной истории... Порой раздаются нарекания на то, что работа идет слишком медленно, но медлительность наша связана со сложностью задачи: ведь заниматься Вольтером — это значит заниматься всем XVIII столетием; не следует забывать и о другом: у десятков сотрудников, разбросанных по всему миру, есть и свои «личные» дела: они обязаны читать лекции, присутствовать на скучных, но неизбежных собраниях, готовить другие публикации, наконец, у них есть семьи и потребность хоть иногда менять обстановку и отдыхать. Другой пример. В 1975 г. мы взяли за издание Полного собрания сочинений Изабеллы де Шарьер. Я в ту пору работал в Йельском университете, богатейшая библиотека которого сулила немало приятных сюрпризов. Беседуя с библиотекарем, любознательным, как все представители этой профессии, я заговорил о Белле ван Зейлен и Джеймсе Босуэлле, который мечтал на ней жениться. Библиотекарь спросил, не хочу ли я познакомиться с коллегами, которые готовят издание Босуэлла. Через несколько минут их координатор встретил меня незабываемыми словами: «Welcome to the Boswell factory»³⁶. Это и в самом деле была небольшая фабрика: рабочие кабинеты, прекрасно подобранная библиотека, аппараты для чтения микрофильмов, сотрудники, занятые только на этом «производстве», машинистки. Впрочем, все это не мешало «рабочим» выдавать готовый продукт слишком медленно — во всяком случае, так полагали некоторые сторонние наблюдатели. Древние призывали: «Festinus lente»³⁷; признаемся, что, если результат получается превосходный, с ними можно согласиться.

Если же говорить о моих собственных разысканиях, то немало задуманных мной проектов мне так и не удалось воплотить в жизнь из-за нехватки времени или средств. Я раздавал советы направо и налево, кое-кого из коллег я соблазнил своими идеями, и они сделали то, чего не смог сделать я сам, — мне это чрезвычайно приятно.

«Что поделаешь, — сказал мне один старший товарищ, когда я обсуждал с ним эту тему, — должны же мы *что-нибудь* оставить потомкам». Это *что-нибудь* огромно, даже головокружительно, однако новое поколение не обделено талантами. А после них, надо надеяться, придут люди еще более способные. Речь тут не столько о династиях, сколько о преемственности. Однажды за ужином Жан Фабр нарисовал целое генеалогическое древо специалистов по изучению XVIII в.; своей властью патриарха он отвел и мне место среди них. С тех пор это генеалогическое древо сильно разрослось. Представляя пианистов и скрипачей, часто говорят: это «ученик такого-то», который в свою очередь был «учеником такого-то». Точно так же говорят о живописцах и врачах, — а чем хуже исследователи XVIII в.? Я опять заговорил о проектах, о бутылках, брошенных в море: надеюсь, что однажды кто-нибудь отыщет их, прочтет наши послания и захочет ответить на наш вызов.

Некоторые намерения так и остаются нереализованными; а бывает и так: начинаешь работу, а потом по той или иной причине она не продвигается. За неимением времени, за неимением средств, порой за неимением упорства. Какому исследователю не случилось встречать неласковый прием со стороны администрации собственного университета или руководства той или иной библиотеки, обижаться на невнимание коллег, не отвечающих на вполне конкретные вопросы, которые требуют безотлагательного решения (а ведь мы готовы ответить услугой на услугу)? Мне пришлось ждать полтора года, прежде чем дирекция португальского музея уведомила меня, что картины, принадлежавшей некогда принцу де Линю, в их собрании нет. Другая иностранная библиотека вообще не отвечала на неоднократные запросы. Пришлось вежливо, но твердо известить о происходящем посла этой страны — и через двое суток проблема была решена. Смысл загадочной надписи на старой библиотечной карточке, найденной в Мельбурне, разъяснился только шесть лет спустя в Оксфорде. Терпение, настойчивость, упорство... однако наступают минуты, когда хочется послать все к черту. Один раз я испытал это чувство, когда узнал, что вполне официальное решение о финансовой поддержке моего проекта отменено, причем без всякого объяснения. В другой раз я должен был лететь вместе с коллегами на некую конференцию и по прибытии в Орли узнал, что самолет мой только что улетел: секретарша, оформлявшая коллективный билет, перепутала время отлета... Довольно и меньшего повода, чтобы впасть в ярость (во Фландрии это называют «испанской» яростью). Признаюсь, что в обоих этих случаях я не стал скрывать свои чувства и высказал начальникам все, что я думаю о них и об их подчиненных. Дело прошлое. Что было — то было, тут уж ничего не поделаешь. Специалист по изучению XVIII в. переживает неудачи и помехи в работе, особенно досадные, когда их источник — небрежность или каприз, так же, как и любой другой человек. Зато, возразят мне, эти неприятности компенсируются удовольствиями, почестями. Разумеется, лестно получить приглашение на далекий континент или в замечательный город. Но все ли приглашения следует принимать? Марафон — вещь, быть может, и не смертельная, но бесспорно утомительная. Постранствовав несколько лет, я почувствовал, что пора начать кое от чего отказываться. Что же касается почестей, мне никогда не приходило в голову хлопотать о наградах или премиях. Иные из коллег даже упрекали меня в этом, порой довольно резко, под тем предлогом, что я играю не по правилам. Чтобы сосчитать все мои награды, хватит пальцев одной руки. Я давно взял на вооружение слова Поля Анри Спаака, видного бельгийского государственного деятеля: «Награды не просят, не отвергают и не носят». Вспомним и принца де Линя, который появлялся при дворе Франца II позже других, в черном фраке вместо блестящего мундира. Тщеславие всегда выглядит глупо. Единственное, что может доставить настоящее удовлетворение, — это сознание, что ты открыл что-то новое, совершил *Жерар Варжарин* *Музеи восемнадцатого века* *на пороге двадцать первого*

НЕ ТОЛЬКО ПО ВИНЕ ВОЛЬТЕРА...

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Читатель, возможно, упрекнет меня в излишнем морализаторстве. Это его право. Если я не раз говорил подобным тоном на предыдущих страницах, то лишь потому, что я часто спрашиваю себя, существует ли этика научного поиска, деонтология исследователя XVIII в.?

Vive Liberta и Век Просвещения

Разумеется, она существует, но почти не отличается от той этики, которой вообще руководствуются преподаватели или исследователи. Не стану распространяться об этом подробнее, ибо не собираюсь никому читать мораль, не говоря уже о проповедях. Однако да позволено мне будет подчеркнуть одну деталь, о которой лично я никогда не забывал. Я говорил выше о нежелательных последствиях слишком сильной привязанности к одной эпохе, к одной знаменитости. Конечно, все мы не хуже Гаррика и Дидро знаем, что актер не должен отождествлять себя с персонажем, которого он играет. И тем не менее сколько раз я ловил самого себя на том, что задаюсь вопросом: «А как бы поступил ты, узнав о драме Каласа или де Ла Барра?» Читая архивные документы, я не раз наталкивался на ужасные вещи: например, на проект — в XVIII в., по счастью, неосуществленный, — заставить венских евреев носить опознавательный знак, на проект запретить печатание каких бы то ни было книг, за исключением молитвенников, на рассказ о несчастных, которых за мелкие грешки приговорили к страшной, позорной казни, и никто не вступился за них, потому что их судьба осталась неизвестной Вольтеру, на описания жестоких экзекуций... Хотя и знаешь, что все это — события 200-летней давности, все же читать о них спокойно нет сил. И напротив, можно ли не порадоваться такому превосходному медицинскому нововведению, как оспопрививание, или замечательной судебной реформе, отменившей пытки, или эдикту о веротерпимости, который наш император Иосиф II счел нужным издать в 1781 г., к великому неудовольствию многих «высокопоставленных особ»? Читая обо всем этом, начинаешь, как я уже признавался выше, мечтать встретиться с каким-нибудь выдающимся человеком или стать свидетелем какого-нибудь знаменательного события. Пытаешься представить, как бы ты повел себя в фернейской гостиной, в Белёе или 14 июля 1789 г. в Париже. Тут-то — по счастью, в самый подходящий момент — мечтам приходит конец. Но так происходит со мной, а есть люди, которые не желают пробуждаться от грез, да еще и пересказывают их всем и каждому. Однажды я попал в весьма пикантную ситуацию Мэрия одного южного города устроила конференцию по правам человека в которую включила и историческую секцию. Мэр, по совместительству протестантский пастор, пригласил меня выступить с докладом и принять участие в обсуждении. Я незадолго до того обнаружил оригинал речи Мирабо о женитьбе священников — речи, которую ему так и не удалось произнести в Национальном собрании. Я счел возможным поговорить о «правах Природы», не высказывая, впрочем, собственного мнения об этом щекотливом вопросе. Нетрудно вообразить, какое впечатление произвел мой доклад на присутствовавших в аудитории священников, мэр же, со своей стороны, взял мои слова на вооружение и процитировал их с энтузиазмом в своей приветственной речи на одном из приемов. Что касается меня, то я не отказал себе в удовольствии высказать свое собственное мнение на этот счет — но лишь в частной беседе, в ответ на вопрос кого-то из слушателей. Другой пример. В Венской академии мне пришлось рассказывать о проектах введения цензуры, которые вынашивала наместница Нидерландов Мария Елизавета. И вот во время обсуждения одна довольно известная исследовательница вдруг произносит самую настоящую апологию цензуры! Председательствующий вежливо, хотя и без удовольствия, выслушал эту даму, а потом, не сказав ни слова о ее выступлении, предложил перейти к другому вопросу. Все это я говорю к тому, что не следует смешивать научную работу с полемикой или восхвалениями. Никто не мешает исследователям высказывать их собственные мнения, но научный конгресс и политический форум — вещи разные. Иными словами, можно иметь общественные и политические убеждения, но совершенно не обязательно высказывать их по любому поводу и в любой ситуации. Добавлю, что мне довелось знать немало исследователей XVIII в., чьи политические убеждения в свое время оказывали большое — и далеко не самое благотворное — влияние на их лекции и статьи.

Порой это служило источником жарких дискуссий, участники которых были сами очень увлечены спором, но не могли сделать его увлекательным для других. Помню, например, одну конференцию, где страсти накалились так сильно, что один из спорящих покинул зал, хлопнув дверью, под смех всех присутствующих. С другой стороны, разве исследователь XVIII в. не имеет права быть дерзким? Не имеет права быть иконоборцем? Ведь люди «его» века только так и поступали! Изучение XVIII столетия порой ставит исследователей в весьма затруднительное положение, я не один раз видел, как то или иное суждение, высказанное каким-либо ученым, становилось источником многолетней вражды, и оппонент, затаив обиду, выплескивал ее в разгромных, убийственных рецензиях, служивших орудием мести. Идеальных людей не существует и специалисты по изучению XVIII в. отнюдь не исключение из этого правила. Однако это не должно мешать нам идти вперед и честно выполнять свой долг, во всяком случае, лично я не жалею ни о чем или почти ни о чем из того, что сделал. Скорее я жалею о том, чего не смог сделать. В общем, если бы можно было начать сначала.

1. Школьных учителей в то время принято было называть по именам.
2. Аллюзии на «Задига» Вольтера, «Персидские письма» Монтескье и систему руссоистских взглядов. — *Прим. ред.*
3. *Vercruysse J. Voltaire et la Hollande. Geneve, 1966 (Studies on Voltaire and the eighteenth century. Vol.46).*
4. Знаменитая фраза из «Персидских писем» Монтескье (письмо XXX). — *Прим. ред.*
5. Революционно настроенные простолюдинки, присутствовавшие на заседаниях Конвента и наблюдавшие за казнями у подножья гильотины с вязанием в руках. — *Прим. переводчика.*
6. Имеется в виду жестокое подавление восстания камизаров 1702–1704 гг., вспыхнувшего в Севернах после отмены Нантского эдикта (1685). — *Прим. ред.*
7. Изабелла Агнета Элизабет де Шарьер, урожд. ван Тейль ван Сероскеркен (1740—1805), франкоязычная швейцарская писательница. Родилась в замке Зейлен близ Утрехта (Голландия), чему обязана еще одной формой своего имени — Белла (или Белль, по-французски «красавица») ван Зейлен (или из Зейлена). — *Прим. ред.*
8. Выйдя замуж (1771), Изабелла де Шарьер поселилась с супругом в его усадьбе Понте (в Коломбье близ Невшателя), где и прожила до конца своих дней. — *Прим. ред.*
9. См. песенку Гавроша в «Отверженных» Виктора Гюго (часть V, книга 1, гл.15), пер. В.Левика. — *Прим. ред.*
10. На улице Платриер в Париже жил в 1770–1778 гг. Жан-Жак Руссо; ныне она носит его имя. — *Прим. переводчика.*
11. То есть в гостях у Изабеллы де Шарьер (см. выше). — *Прим. ред.*
12. Усадьба близ Женевы (ныне — в самой Женеве), которой Вольтер, живший там в 1755–1760 гг., дал название «Les Delices» — «Отрада». Сейчас там находятся Институт и Музей Вольтера, основанные Т. Бестерманом. — *Прим. ред.*
13. «Veillons au salut de l'empire...», патриотическая песнь на слова А.С.Буа, положенные в 1791 г. на музыку из комической оперы «Рено д'Аст» Н.Далейрака (1787); «Le reve passe...», песня на слова А.Фуше на музыку Ш.Эльмера и Ж.Крира (1906). — *Прим. ред.*
14. 2 Тим. 4, 7.
15. Пьетро Антонио Лонателли (1695-1764), итальянский композитор и скрипач-виртуоз, упоминаемый Дидро в «Племяннике Рамо». — *Прим. переводчика.*
16. Город в Нижней Австрии, где располагался летний дворец австрийских императоров. — *Прим. переводчика.*
17. Замок в Англии, в графстве Йорк. — *Прим. переводчика.*
18. Старейший из действующих планетариев, сооруженный в 1774–1781 гг., находится в городе Франекер во Фрисландии (Нидерланды). — *Прим. ред.*
19. Князя (*um.*).
20. «Vert-Vert», шутливая и пикантная поэма Ж.-Б.-Л.Грессе (1733), главный герой которой — попугай, в течение долгого времени услаждавший неверских визитандинок. — *Прим. ред.*

21. Мольер. Смешные жеманницы. Д.3, явл.2; пер. М.М.Тумповской. – *Прим. переводчика.*
22. Буало. Поэтическое искусство. I, 63; пер. Э.Линецкой. – *Прим. переводчика.*
23. Марк Аврелий. Размышления. V, 29; пер. А.К.Гаврилова. – *Прим. ред.*
24. *Светоний*. Жизнь двенадцати цезарей. Тит, 8.
25. International directory of eighteenth-century studies / Repertoire international des dix-huitiemistes 2000. Oxford, 1999.
26. Л. Молан осуществил издание последнего Полного собрания сочинений Вольтера во Франции: 52 тома, 1877–1885 гг. Современное издание, начатое Т. Бестерманом в 1968 г. в Женеве, продолжается созданным им Фондом Вольтера в Оксфорде – *Прим. ред.*
27. Двадцатитомное Полное собрание сочинений Дидро было издано в 1875-1879 гг. Ж. Ассеза и М. Турне. — *Прим. ред.*
28. Никола Шарль Жозеф Трюбле (1697–1770), архидиакон Сен-Мало, литературный критик, издатель *Journal chretien*, с 1758 г. полемизировавшего с энциклопедистами. В «Литературных и моральных эссе» (1735 г., переизд. 1754) критически отозвался о «Генриаде» Вольтера. В 1760 г. тот выпустил сатирическую поэму «Бедняга» («Le Pauvre Diable»), в которой по очереди высмеял всех своих врагов; досталось и Трюбле: «L'abbe Trublet avait alors la rage / D'etre a Paris un petit personnage; / Au peu d'esprit que le bonhomme avait / L'esprit d'autrui par supplement servait. / Il entassait adage sur adage; / Il compilait, compilait, compilait...». – *Прим. ред.*
29. *Charriere I. de (Belle de Zuylen)*. (Euvres completes / Ed. critique publiee par J.-D.Candaux, C.P.Courtney, P.H.Dubois, S.Dubois-De Bruyn, P.Thompson, J.Vercruysse et D. M. Wood. Amsterdam, 1979–1984. 10 vol. – *Прим. ред.*
30. Максима Вольтера из «Кандида», гл. XXX. – *Прим. ред.*
31. Матф. 21, 28.
32. Речь идет о божьей кампании 1741 г., имевшей для Вовенарга, по сведениям его биографов, роковые последствия — обморожение ног. – *Прим. ред.*
33. «Неукоснительная строгость» (*ит.*).
34. Господин Тэст — герой Поля Валери, воплощение строгой логики и сухого разума, требующий от всех доказательности суждений. — *Прим. переводчика.*
35. Адриан Бешо (1777–1851), издатель Собрания сочинений Вольтера в 70 томах (1828-1834). Он опирался на первое посмертное Собрание сочинений Вольтера, осуществленное в рейнском форте Кель, на территории маркграфства Баденского совместными усилиями Бомарше, Кондорсе и их сотрудников (70 томов in-4°, 92 тома in-12°, 1785-1789 и дополнительный том в 1790 г.). – *Прим. ред.*
36. «Добро пожаловать на фабрику Босуэлла» (*англ.*)
37. «Будем поспешать медленно» (*лат.*).

Материалы, близкие по тематике:

[Д.Рош. От социальной истории к истории культур: эпоха Просвещения](#)

[Поль де Ман. Аллегории чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста](#)

[Читатели Руссо откликаются - глава из книги Р.Дарнтон «Великое кошачье побоище и другие эпизоды французской культуры»](#)

[Анатомия литературной республики в досье инспектора полиции - глава из книги Р.Дарнтон «Великое кошачье побоище и другие эпизоды французской культуры»](#)

[Й.Хёйзинга. Глава, касающаяся культуры и моды XVIII в., из книги «Homo Ludens»](#)

[СВОДНЫЕ ССЫЛКИ по ПЕРСОНАЛИЯМ](#)